

История как жанр, или почему нас так неохотно читают

Татьяна Павловна Хлынина

Южный научный центр РАН
344006, г. Ростов-на-Дону, пр. Чехова, 41
Доктор исторических наук
E-mail: tatiana_xl@mail.ru

АННОТАЦИЯ: Статья посвящена жанровым особенностям современной историографической практики. В ней рассматриваются проблемы, сопряженные с поиском форм «исторического письма», родовой близости литературы и истории. Особое внимание уделяется нарастающему разрыву между академической историей и практическими потребностями в знании о прошлом.

Ключевые слова: история; литература; историографическая практика; нарратив; «историческое письмо»; профессиональное общество; массовое сознание.

УДК 903

*«Полоса отчуждения», существующая ныне между историей и литературой, возникла не так уж давно. Лишь в середине 30-х годов XIX века прервалась тесная до того момента связь между исторической прозой и художественной литературой¹.
«Наш локальный репертуар нарративных форм переплетается с более широким культурным набором дискурсивных порядков, которые определяют, кто какую историю рассказывает, где, когда и кому»².*

Еще несколько десятилетий тому назад ситуация, складывавшаяся в отечественной историографии, напоминала затянувшийся гипертонический кризис. Его основной причиной виделась «застарелая любовь» профессионального сообщества к исчерпавшей себя на тот момент времени марксистской методологии. Именно со сменой эпистемологических вех связывались надежды не только на обновление истории как науки в целом, но и возвращение ей роли наставницы ныне живущих и грядущих поколений.

Однако распрощавшись со сдерживавшими стремительный рост знания о прошлом формационными веригами и переместившись в пространство интертекстуального диалога различных отраслей познания, история так и не стала тем захватывающим интеллектуальным проектом, о котором когда-то мечтали древние греки. Не превратилась она и в действенный инструмент преобразования действительности, отдавшей предпочтение более точным и собирательным наукам об обществе. Разбившись о политический быт постперестроечных реалий, история все больше замыкалась в «башне из слоновой кости», выбираясь оттуда лишь по необходимости дать бой фальсификаторам прошлого.

Переменам, происшедшим в историческом познании, удалось вывести науку о прошлом на широкую дорогу методологических новаций. Появились по-настоящему интересные и профессионально выполненные исследования практик жизнеобеспечения «маленьких людей» и биографических зигзагов их великих современников; активно проигрываются альтернативные сценарии возможного развития перелом-

¹ Экштут С.А. «Битвы за храм Мнемозины: Очерки интеллектуальной истории». СПб., 2003. С.7.

² Брокмейер Й., Харре Р. Проблемы и обещания одной нарративной парадигмы // Вопросы философии. 2000. № 3. С.31.

ных моментов истории человеческой цивилизации; получают свою дисциплинарную прописку историческая антропология и гендерная история. Между тем, классические сочинения по истории, преимущественно выполняемые в форме научных монографий, стремительно теряют не только свою читательскую, но и профессиональную востребованность. Причинами тому, как представляется, оказываются, с одной стороны, потеря историей своего дисциплинарного статуса, связываемого с расширением игроков на ее профессиональном поле и стремительным ростом разнообразной исторической продукции, с другой, спецификой «исторического письма», нередко становящегося «камнем преткновения» для понимания высокого смысла минувшей реальности.

Вопросами о том, как писать «исторические тексты» и насколько профессиональный слушатель прошлого волен придерживаться строгих канонов научного жанра, вот уже на протяжении двух тысячелетий задается не одно поколение историков. За этот период времени история успела обрести статус научного знания, открыв законы развития прошлого, и пройти путь от его биографических зарисовок до обезличенного повествования. И если сомнений относительно научности исторического знания уже давно не возникает, то в отношении формы его представления ведется жаркая полемика, все чаще сопровождающаяся сетованиями на отсутствие понастоящему увлекательных и добротных описаний прошлого, внятных и доступных объяснений природы когда-то произошедших событий. Неудовлетворенность наша (как читателей и основных потребителей такого рода продукции) по мере возможностей учитывается специалистами и находит отражение в воссоздаваемых ими образах прошлого.

Однако перемены эти не столь быстротечны, а вкусы наши весьма неоднородны и, что греха таить, неустойчивы. Кроме того, они не всегда совпадают и с самой логикой развития исторического познания, организуемого в соответствии с определенными и строгими правилами научного жанра. Но читателю азы профессионального мастерства историка, по большей своей части, не любопытны, да и ждет он от него совершенно иного. В этом ожидании и рождаются, как правило, всевозможные фантазии на тему о том, отчего история не литература и как было бы здорово, если бы она воспитывала не негодяев, а достойных граждан своего Отечества.

Действительно, если бы истории как науке удалось преодолеть свою родовую зависимость от источников, повествующих о событиях прошлого, и всецело положиться на «глубокомыслие и остроумие» ее современных рассказчиков, она во многом выиграла бы. Однако смогла бы она остаться в данном случае наукой – судить однозначно отважатся немногие. Тем не менее, подобные перспективы и возможности видения прошлого весьма охотно обсуждаются на страницах академических и образовательных изданий. В данной связи, собственно, и хотелось бы поговорить о том, почему вообще подобные представления бытуют вокруг истории как специфической процедуры освоения прошлого, насколько они полезны для его усвоения и каким образом историческое знание, не разрушая собственной дисциплинарной основы, могло бы удовлетворить эмоциональный голод читателя.

* * *

Историческое познание как особая разновидность освоения человеком окружающего его мира прошло в своем развитии довольно долгий и не лишенный драматических переживаний путь. Его длительность свидетельствовала о становлении истории как определенного типа знания, а драматизм отражал напряженный поиск механизмов его организации и передачи. Обретя статус науки в век торжества человеческого разума и безраздельного господства естествознания, история постепенно утрачивала статус гуманитарного знания, все более претендуя на выражение закономерностей общественного развития. Именно эта «высокая претензия», в конечном итоге, и послужила одной из причин «несомненного кризиса современной исто-

риографии, научные традиции которой формировались еще с эпохи Просвещения и даже с Возрождения, а основы закладывались с античного времени» [1].

Проблема кризисного состояния исторического жанра вот уже не одно десятилетие активно обсуждается в отечественной и зарубежной историографии. При всей разности отмечаемых исследователями причин, вызвавших его к жизни и повлекших за собою разнообразные последствия, в качестве одной из них отмечается и утрата историческим повествованием «вкуса к деталям и подробностям воскрешаемого прошлого». Столь незначительное, на первый взгляд, обстоятельство привело не только к социологизации исторического познания, но и к выхолащиванию самой сути исторического развития, сведенной к выявлению неких универсалий «общественного бытия». Их незримое присутствие в изучаемой эпохе и закономерная смена в течение долгого времени определяли и продолжают определять собою общепринятый образ прошлого, в пространстве которого «живые люди из плоти и крови» обычно замещаются «народными массами» либо «их выдающимися представителями». В итоге история стала напоминать собою некий монолитный памятник ушедшему времени, где с большим трудом различимы составляющие его части.

Следует отметить, что подобное положение дел никогда полностью не удовлетворяло исследователей, неоднократно пытавшихся обновить сам памятник или дополнить его фактуру. Одной из таких попыток как раз и послужило возвращение истории в лоно когда-то породившей ее филологии. «Теоретический мятеж» в лингвистике последней трети XX в. со всей очевидностью обозначил проблему родового сходства литературного и исторического повествований, одновременно потребовав и выявления их различий. Не претендуя на всеобъемлющее пояснение ее содержательных особенностей, к тому же получивших самостоятельное воплощение в виде «прорывных нарратологических» исследований [2], позволю себе небольшое частное замечание, сводящееся к принципиальной невозможности «оживить» сугубо литературными приемами реальность прошлого.

На родовое сходство истории и литературы обращали внимание еще древние авторы. Уже античная историография понимала, что история представляет собою не просто перечень событий прошлого, а повествование о них. Тем самым предполагалось, а в настоящее время получило повсеместное признание, некоторое тождество в структурировании и изложении сюжетов исторического и литературного свойства. Однако сходство в организации материала не подразумевает одинаковости в выборе средств достижения поставленных целей. Историк, в отличие от писателя, не волен домысливать судьбу своего персонажа или изучаемого события, ибо они не плод его творческой фантазии, а порождение реальных обстоятельств недоступного ему времени. Жанровые ограничения неизбежно сказываются и на выборе выразительных средств запечатления прошлого. Ведь недаром «отцом истории» по праву считается основательный Геродот, а не красноречивый Ксенофонт или остроумный Тацит.

Попытки придать историческому тексту занимательный характер, сблизив его с лучшими образцами приключенческой и романической прозы, заслуживают искреннего уважения. Тем более что тяжеловесные описания объективных закономерностей «неизбежного столкновения интересов больших групп людей в процессе смены их производственной деятельности», историю ближе не делают, да и саму производственную смену, честно говоря, «доступностью понимания» не наделяют. Между тем, существует одно досадное препятствие, не позволяющее в полной мере справиться с поставленной задачей. Таким препятствием служит грамматическая ограниченность переводимых на язык литературного повествования реалий прошлого.

Как бы нам того ни хотелось, историческое событие может быть слышано только в контексте породившего его времени, которое мыслило себя в соответствующих ему духу понятиях. Ведь нельзя же всерьез полагать, что смысл отечественного крепостничества полностью покрывает и разъясняет собою такой новояз советской эпохи, как «классовая эксплуатация помещиками крестьян». И дело не в том,

чтобы привести всю историю к языковым нормам прошлого, а в осознанном понимании невозможности для исследователя вырваться из очерченных ими рамок восприятия произошедших событий. Рамки эти и служат тем опознавательным знаком, за границей которого кончается историческая достоверность и начинается автономная от него жизнь литературного повествования с весьма правдоподобным сюжетом.

Посему, прежде чем сетовать на то, «отчего история не литература», следует подумать, к каким последствиям приведет их жанровый взаимообмен и не пострадает ли от него достоверность в истории и «красота слога» в литературе? Представляется, что предметное взаимопроникновение, повлекшее за собою исследовательскую увлеченность междисциплинарностью, интертекстуальностью и прочими пограничными вещами, не должно разрушать барьеры, разъединяющие науки друг от друга. Иначе совершенно непонятно, зачем «воскрешать» бунт Пугачева, если «Капитанская дочка» А.С. Пушкина рисует его психологически более убедительно, нежели многочисленные исследования, которые заведомо уступают ей в эстетическом отношении. Сотрудничество различных дисциплин не равносильно их взаимозаменяемости, и каждая из них предельно ограничена в своих возможностях.

Вместе с тем, литература могла бы оказать неоценимую услугу образовательным возможностям истории. Следует отметить, что действующая на сегодняшний день в подавляющем большинстве российских школ репродуктивная форма усвоения знаний, основанная на пересказе не всегда интересно (а зачастую и внятно) написанного параграфа в школьном учебнике, формирует отношение к истории как предмету сложному и в дальнейшем малоприспособленному. Спрессованность огромного количества дат, интриг и столкновений взаимоисключающих интересов создает иллюзию беспросветного хаоса, упорядочение которого представляется делом сверхсложным и практически неподъемным. История, лишенная привычного окружения людей и предметов, едва ли в принципе способна растить думающее поколение, отводя ему незавидную роль статистов на своих подмостках.

Попыткой преодоления сложившегося положения дел и возвращения истории вкуса к деталям стало введение в образовательный стандарт разделов, посвященных быту различных категорий населения страны. Согласно общепринятому определению, быт – это сфера внепроизводственной социальной жизни, включающая в себя, наряду с удовлетворением материальных потребностей людей в пище, одежде, жилище, лечении и поддержании здоровья, освоение ими духовных благ, культуры, общение, отдых, развлечения. В широком смысле быт понимается как уклад повседневной жизни, оказывающий непосредственное воздействие на все сферы жизнедеятельности общества. Однако если древность и средневековье еще хоть как-то способны удовлетворить наше любопытство «течением внепроизводственной стороны жизни общества», то более поздние эпохи в этом отношении выглядят подчеркнуто «внебытовыми». Авторы школьных учебников по истории России XIX–XX вв., описывая события того времени, по-прежнему избегают этого хорошо известного незнакомца, полагая ему вполне полноценной заменой обширные разделы по культуре страны соответствующего периода времени. В итоге современной школьник не знает ни высокой культуры своей страны, ни ее повседневных проявлений, искренне веря в ставшую уже афористической сентенцию о «неприглядности быта русского человека». Вместе с тем, как показала классика отечественной литературы, у этой неприглядности есть свое вполне определенное лицо с отчетливо выраженными характерными особенностями и только ей присущими опознавательными знаками.

В практике школьного да и вузовского преподавания давно уже утрачена взаимосвязь между историей и литературой, противопоставление которых по водоразделу «документальной достоверности» и «художественного вымысла» нанесло ощутимый вред не одному поколению профессиональных исследователей прошлого. Не вдаваясь в подробности давнего спора о природе их сходства и различия, отмечу лишь, что литература в России являлась не только зеркалом народной жизни, но и

длительное время оставалась практически единственным источником знаний о прошлом ее различных представителей. Так, пьесы А.Н. Островского до сих пор являются не превзойденным по своей психологической точности портретом русского купечества, а роман А.С. Пушкина «Евгений Онегин» – энциклопедией русской жизни рубежа XVIII–XIX вв. В этом ряду произведения А.П. Чехова, определяемые в жанровом отношении «социологическим реализмом», вполне могут рассматриваться энциклопедией русского быта. В данной связи Д.С. Мережковский писал, что если бы современная Россия исчезла с лица земли, то по произведениям Чехова можно было бы восстановить картину русского быта конца XIX в. в мельчайших подробностях. Сам писатель, определяя особенности своей прозы, подчеркивал умение коротко говорить о длинных вещах. Открытое им «описание деталью» в наш век всеобщего дефицита времени и прогрессирующего обесценивания гуманитарного образования становится спасительной находкой для решения различного рода задач, связанных с преподаванием все той же истории в школе. Небольшой объем его произведений и их программное изучение на уроках литературы позволят школьнику не только ощутить ритм и дыхание российской пореформенной действительности конца XIX – начала XX вв., но и прочувствовать ту грандиозную драму, которую переживало русское общество рассматриваемого периода времени.

Так, одним из судьбоносных вопросов пореформенного развития страны оставался вопрос о переустройстве российской деревни. Вопрос этот традиционно и профессиональными историками, и авторами школьных учебников сводится к противоборству двух непримиримых стихий: отечественного дворянства, по большей своей части промотавшего родительское состояние, и крестьянства, радостно встретившего весну освобождения от господского гнета. Не говоря уже о далеко не полной и крайне редуцированной картинке жизни пореформенной деревни, подобное описание оставляет за пределами повествования конкретные детали, предметно-осязаемые подробности происходившего процесса обновления русской жизни, то есть всего того, что позволяет отличить одну временную веху от другой. Узнать о них из скупых документальных свидетельств или воспоминаний очевидцев не представляется возможным. Подобного рода документы страдают личностно окрашенным восприятием, ограничивающимся оценками и суждениями сугубо внутреннего свойства. Именно по этой причине понять, что же на самом деле происходило с российской деревней и ее реальными обитателями, можно только через их художественное осмысление.

«Вишневым сад» А.П. Чехова как нельзя лучше передает накал человеческих и исторических страстей эпохи крестьянского освобождения и перерождения русского дворянства. Его главные герои – типичные обитатели помещичьего имения – показаны в момент, решающий судьбу родового гнезда Раневских. Читатель видит плохо отапливаемый дом, освещаемый свечами, чьи постояльцы зябко кутаются в шубы, шали и подножные подушки. Его окружает сад, за пределами которого просматривается поле со старой, давно заброшенной и покривившейся часовенкой; дорога в усадьбу брата владелицы имения Л.А. Гаева и ряд телеграфных столбов [3]. О постоянной связи обитателей имения с внешним миром напоминают вояжи Л.А. Гаева в окружной суд, предполагаемая поездка Ани к богатой бабушке в Ярославль [4], полученные Л.А. Раневской телеграммы из Парижа [5] и неотложные дела Лопахина в Харькове [6]. Более того, сама Л.А. Раневская только что вернулась из Парижа, где прожила, по свидетельству ее дочери Ани, пять не очень счастливых лет своей жизни [7].

Среди средств передвижения того времени упомянуты опоздавший на два часа поезд и конные экипажи, которыми охотно пользуются обитатели и гости имения [8]. О патриархальности быта провинциального помещика свидетельствует заведенный распорядок дня, охраняемый старым лакеем Фирсом, и фигура Вари – «ключницы», реальной хозяйки имения. Бытовая утварь практически полностью

выпадает из поля зрения писателя, оставляющего читателю лишь скудные свидетельства о наличии в доме нескольких комнат: детской, бильярдной и залы. В детской, согласно воспоминаниям Лопихина, располагался рукомошник, к которому его подвела еще совсем молоденькая Л.А. Раневская и помогла смыть кровь, текущую из носа [9].

Привычная рутинная жизнь разорившейся помещицы нередко прерывается выездами в город, где наличествует ресторан с музыкой, в котором пахнет мылом и играет еврейский оркестр в четыре скрипки, одну флейту и контрабас [10]; домашними балами, на которых танцуют grand-rond, пьют кофе, чай, сельтерскую воду, закусывая анчоусами и керченскими сельдями [11]. Однако и в ее установившееся размеренное течение стремительно врываются перемены. По словам старого лакея Фирса, «раньше у нас на балах танцевали генералы, бароны, адмиралы, а теперь посылаем за почтовым чиновником и начальником станции, да и те не в охотку идут» [12].

Происходящие перемены не ограничивались только лишь внешней, бытовой стороной жизни российской деревни. Они проникали в ее социальный уклад, наполняя его новыми, реально действовавшими и не всегда приятными типажам. Наряду с типичными персонажами того времени, чьи судьбы переламывались вместе «со становой хребтом» России, такими как:

- типичный прожигатель жизни Гаев, который после продажи вишневого сада «как-то повеселел», став банковским служащим и финансистом» [13];

- его сестра Л.А. Раневская, всю жизнь «ссорившая деньгами, много грешившая» и принявшая решение о возвращении в Париж на пятнадцать тыс., подаренных ярославской бабушкой [14];

- Симеонов-Пищик, ходивший в поддевке из тонкого сукна и в шароварах и занятый вечным поиском денег, чтобы «уплотить проценты» [15];

- растерянный слуга Фирс, преданный своим господам и тоскующий о старом и привычном мире: «...воля вышла, я уже старшим камердинером был. Тогда я не согласился на волю, остался при господах». «Мужики при господах, господа при мужиках, а теперь все враздробь, не поймешь ничего» [16];

основными действующими лицами авансены истории становятся:

- *дачник*, который «теперь только чай пьет на балконе; но ведь может случиться, что на своей одной десятине он займется хозяйством, и тогда вишневый сад станет счастливым, богатым, роскошным...» [17];

- *интеллигенция*, представляющая собою «громадное большинство, которое ничего не ищет, ничего не делает и к труду пока не способно. С мужиками обращается как с животными, прислуге говорит «ты», учится плохо, серьезного ничего не читает, ровно ничего не делает, о науках только говорит, в искусстве понимает мало» [18];

- *Лопихин (купец из крепостных)*, чьи дед и отец были крепостные у Л.А. Раневской, а теперь он крепко стоит на ногах и обзавелся собственным делом. Однако именно Раневская «сделала для него так много», что он забыл все и любит ее больше, чем родную [19]. Именно он разработал проект «разбить вишневый сад и землю по реке на дачные участки и отдавать потом в аренду под дачи» [20]. Он смотрит пьесы в театре, полагает свою жизнь дурацкой, себя болваном и идиотом, который «ничему не обучался», почерком обзавелся скверным, пишет так, что от людей советно, «как свинья» [21]. С точки зрения Трофимова он нужен как хищный зверь, что съедает все, что попадает ему на пути [22]. Сам Лопихин считает, что раньше «очень хорошо было. По крайней мере, драли» [23]. Встает он в пять утра, работает с утра до вечера, у него постоянно деньги свои и чужие [24];

- *разночинец Трофимов*, «вечный студент», в поношенном мундире и очках, ему еще нет тридцати, и он все еще гимназист второго класса, безжалостно выносящий приговор уходящему миру: «У нас нет еще ровно ничего, нет определенного от-

ношения к прошлому, мы только философствуем, жалуемся на тоску или пьем водку»;

- *старые слуги*, распускающие слухи о том, что «кормят их одним только горохом» и пускающие к себе жить каких-то проходимцев;

- *контрорцик Епиходов*, играющий на гитаре и представляющий ее мандолиной;

- *лакей из «новых» Яша*, который побывал за границей, курит сигары, играет в бильярд и хочет вернуться в Париж по причине необразованности страны, безнравственности ее населения и одолевающей скуки;

- *горничная Дуняша*, еще девочкой взятая в господский дом и уже отвыкшая от простой жизни с руками «белыми-белыми» как у барышни, деликатная и благородная, всего боящаяся девушка, любящая нежные слова.

Персонажи, выведенные А.П. Чеховым на страницах своей пьесы, не значатся ни в одной из сводок статистического ведомства. Они растворены в общих сословных категориях населения, ничего не ведающих о судьбах их конкретных представителей. Анонимность помещичьего сословия или противопоставляющегося ему крестьянства является плохим помощником в понимании не только драмы освобождения 1861 г., но и последующей судьбы тех, кто когда-то считался опорой российского самодержавия. В этом отношении «Вишневый сад» А.П. Чехова позволит представить если и не масштабы происходящих перемен, то, по крайней мере, маленькую трагедию, переживаемую разорившейся помещицей и постояльцами ее имения.

Нарождающиеся новые хозяева жизни, меняющие привычный облик российской деревни, еще не скоро вытеснят собою ее старых обитателей. Сосуществование пробивающего себе дорогу крепкого хозяина из крепостных и никчемного барина, живущего иллюзиями прошлого, продлится вплоть до 1917 г. Однако осознание этой социальной расколотости, приобретшей весьма расплывчатые и пограничные формы своего воплощения (крестьяне, не желавшие мириться с волей; бывшие крепостные, жалевшие неприспособленных к жизни господ) исторической наукой будут восприняты не сразу. И только благодаря художественной прозе станет понятным, что история отличается от литературы не столько вымыслом, столько большим, более близким и кровным пониманием людей и происходивших событий.

Возвращение школьной истории вкуса к художественному осмыслению прошлого едва ли решит стоящие перед нею задачи. Тем не менее, оно будет способствовать преодолению той обезличенности и ходульности, которой неизбежно грешит любой (даже очень хороший) учебник.

* * *

Прошлое само по себе вполне увлекательно и способно продемонстрировать немало ярких и зажигательных примеров. Так почему же каждый раз, обращаясь к нему, мы ставим перед собою «высокую» цель чему-нибудь у него научиться и непременно научить других? Нельзя ли, вслед за замечательным французским историком М. Блоком, ограничиться при его изучении «утолением интеллектуального голода» и привить это качество своим читателям? Ведь путешествие по лабиринтам прошлого ничуть не уступает приключенческим романам М. Рида или Ф. Купера, необходимо только выбрать надлежащий маршрут и опытного проводника.

При этом и выбор маршрута, и надежного проводника во многом предопределяется формой исторического письма, которой традиционно выступает особым образом организованное повествование – нарратив. По заключению специалистов, именно повествовательная форма составляет фундаментальную основу наших попыток «прийти к согласию с природой и условиями существования», обретая свой оптимум в нарративе [25]. Нарративы «сущностно темпоральны, или историчны, и по конструированию и по объяснительной логике. Нарративные объяснения получают форму развертывающегося, открытого рассказа, богатого стечением обстоятельств и

случайностями, где происходящее – это некое действие, и фактически оно происходит благодаря его роли и месту в этом рассказе. Поэтому нарратив допускает некоторую форму каузации через очередность, то есть переименование, изменение и разнородность временных путей к результату. В нарративах мы можем видеть, как накапливающиеся последствия минувших действий все более сужают и ограничивают будущее действие» [26].

К сожалению, в сознании большей части профессионального сообщества исторический нарратив отождествляется с научным письмом, отдающим предпочтение аналитическим обобщениям и специальной терминологии, за которыми теряется живая экспрессия помыслов и поступков людей прошлого. Пытаясь объяснить сложившееся положение дел, современная исследовательница связывает его с широко бытующим мифом о том, что научное письмо предназначено для особой аудитории, широкая публика же «невежественна и ею можно манипулировать» [27]. Столь пагубное заблуждение, в конечном итоге, и привело к появлению литературы, замкнутой на самой себе. Невозможность выхода за намеренно очерченные границы узкопрофессионального восприятия обрекает знание о прошлом на нечувствительность к тем междисциплинарным достижениям, к которым оно так охотно прибегает в целях наглядной иллюстрации своего профессионального роста.

Выходом из создавшейся ситуации видится возвращение истории читательской аудитории, что связывается с широким освоением знания о прошлом литературных приемов организации текста. «Чтобы быть читаемым надо драматизировать», – настаивает Б. Чернявски, предлагая для коллег по цеху более активно использовать жанры героической истории и беллетристики [28]. Для более консервативно настроенных специалистов она рекомендует время от времени раздвигать границы жанра, растягивая и уплотняя его. В первом случае достигается эффект смены перспектив с использованием полисемии языка, иронии и метафор; во втором – кодификация и выработка правил репрезентации, в результате которых появляются более традиционные тексты [29].

В заключение хочется выразить надежду, что ведущиеся современной историографической практикой поиски форм «исторического письма» не превратятся в самоцель, а станут прологом возвращения истории широкой читательской аудитории, видящей в прошлом не просто нагромождение событий и разрозненных фактов, а апологию своего существования.

Примечания

1. Мининков Н.А. Методология: пособие для начинающего исследователя. Ростов – на – Д., 2004. С.5.
2. Анкерсмит Ф.Р. История и тропология: взлет и падение метафоры. М., 2003; его же. Нарративная логика. Семантический анализ языка историков. М., 2003.
3. Чехов А.П. Сочинения: В 18 тт. Т.12–13. М., 1978. С.215.
4. Там же. С.213.
5. Там же. С.206.
6. Там же. С.204.
7. Там же. С.201.
8. Там же. С.197.
9. Там же.
10. Там же. С.218.
11. Там же. С.229, 239.
12. Там же. С.235.
13. Там же. С.247.
14. Там же. С.220.
15. Там же. С.209.
16. Там же. С.221–222.

17. Там же. С.206.
18. Там же. С.223.
19. Там же. С.204.
20. Там же. С.205.
21. Там же. С.220–221.
22. Там же. С.222.
23. Там же. С.221.
24. Там же. С.222–223.
25. Брокмейер Й., Харре Р. Проблемы и обещания одной нарративной парадигмы // Вопросы философии. 2000. № 3. С. 30, 39.
26. Гриффин Л. Историческая социология, нарратив и событийно-структурный анализ. Пятнадцать лет спустя // Социс. 2010. № 2. С. 133.
27. Чарнявска Б. Процесс организации: как его изучать и как писать о нем // Этнографическое обозрение. 2010. № 1. С. 19.
28. Там же. С. 16.
29. Богатырь Н.В. Раздвигая границы жанра: Барбара Чарнявски, гибридные дисциплины и антропология // Этнографическое обозрение. 2010. № 1. С. 3–6.

History as a Genre or Why don't they want to read us?

Tatiana P. Khlynina

Southern scientific centre RAS
41 Chekhova Pr., Rostov-on-Don 344006 Russia
Dr. (History)
E-mail: tatiana_xl@mail.ru

ABSTRACT: The article deals with genre features of the modern historiographic practice, analyses problems of search for “historical writing” style, genre affinity of literature and history. Special attention is attached to growing gap between academic history and practical demand in knowledge of the past.

Keywords: history; literature; historiographic practice; narrative; “historical writing”; professional association; collective consciousness.

UDC 903